

Владимир  
НАБОКОВ

Лаура  
и ее оригинал

Издание второе, существенно исправленное



*Дмитрий Набоков*  
Предисловие

В 1977 году, когда на берегах Женевского озера установилась теплохладная весна, меня вызвали из-за границы к постели отца в лозаннской клинике. Приходя в себя после операции, считавшейся заурядной, он, по-видимому, подхватил госпитальную бациллу, которая самым серьезным образом ослабила его сопротивляемость. Никто не обратил никакого внимания на такие явные признаки ухудшения состояния, как резко понизившийся уровень содержания в организме натрия и калия. Нужно было безотлагательно принимать решительные меры для сохранения его жизни.

Тотчас был устроен перевод в университетскую больницу кантона Во, и начались долгие, мучительные поиски болезнетворного микроба.

За два года перед тем отец упал на скате горы в Давосе, во время любимой своей энтомологической охоты, и застрял в неловком положении на крутом склоне, а проплывавшие над ним на фуникулере туристы, которых он звал на помощь, размахивая сачком, в ответ хохотали, принимая все это за шутку гуляки праздного. Лица, исполняющие служебные обязанности, бывают безжалостны: когда он наконец доплелся до вестибюля гостиницы, поддерживаемый с двух сторон коридорными, ему сделали выговор за то, что его короткие штаны были не в лучшем виде.

Быть может, тут не было никакой связи, но это происшествие в 1975 году как будто положило начало череде недомоганий, не отступавших вполне до тех

самых ужасных дней в Лозанне. Несколько раз он неуверенно покушался вернуться к прежней жизни в Палас-отеле в Монтрё, величественный образ которого всплывает в моей памяти, когда читаю в какой-то идиотской электронной биографии, что успех «Лолиты» «не ударил Набокову в голову, и он продолжал жить в *захудалой швейцарской гостинице*» (курсив мой. — Д. Н.).

Но физическую величественность Набоков стал терять. При своем шестифутовом росте он начал немного сутулиться, его шаги на нашем променаде вдоль озера сделались короткими и нетвердыми. Однако писать он не переставал. Он трудился над романом, который начал в том самом 1975-м поворотном году: то был зародыш шедевра, гениальные ячейки которого начинали оукливаться там и сям на каталожных карточках, которые всегда были при нем. Он очень редко говорил в подробностях о текущем своем сочинении, но тут он, может быть, чувствовал, что число возможностей поведать о них считано, и оттого начал рассказывать нам с матерью о некоторых деталях. Наши послеобеденные беседы делались все короче и прерывистей, и он уходил к себе в кабинет, как будто торопился закончить свой труд.

Скоро пришло время ехать в госпиталь Нестле в последний раз. Отцу сделалось хуже. Исследования продолжались; один врач за другим тер себе подбородок, и вели они себя у постели больного так, что из одра болезни она постепенно превращалась в

смертный. Наконец, когда молодая, шмыгающая носом сестра ушла не закрыв окна, отца просквозило, и это привело к простуде, ускорившей конец. Мы с матерью сидели подле него, когда он, давясь едой, которую я уговаривал его съесть, сделал три судорожных вдоха и скончался от застойного бронхита.

О настоящих причинах его недуга сказано было немного. Смерть великого человека была, казалось, окружена смущенным молчанием. Спустя несколько лет, когда мне понадобилось для биографических целей уточнить подробности, доступ к обстоятельствам его смерти оказался затруднен.

Только в последние дни его жизни узнал я о некоторых державшихся в секрете семейных делах. Среди них было его настоятельное распоряжение уничтожить рукопись «Лауры и ее оригинала» на случай, если он умрет не кончив ее. Лица с ограниченным воображением, которым не терпится добавить свои предположения в водоворот гипотез, захлестнувших это неоконченное сочинение, не могут без презрительного смеха допустить, что обреченный художник может решиться скорее уничтожить свою книгу, все равно, по какой причине, — чем позволить ей пережить себя.

Автор может быть серьезно и даже безнадежно болен и тем не менее продолжать свой отчаянный бег на короткую дистанцию, соревнуясь с судьбой до последнего, до финишной черты, и, несмотря на все свое стремление победить, все-таки проиграть. Ему

может воспрепятствовать случайное обстоятельство или чье-нибудь вмешательство, как это произошло с Набоковым за много лет перед тем, когда его жена выхватила у него из рук черновик «Лолиты», который он уже нес на сожжение в печку для сора во дворе.

Мы с отцом по-разному запомнили колер одного волнующего предмета, который я неполных шести лет от роду с изумлением разглядел между мозаичным нагромождением зданий в приморском Сен-Назере. То была колоссальная труба парохода «Шамплен», который должен был переправить нас в Нью-Йорк. Мне она помнится палево-желтой, а отец говорил, что она была белого цвета.

Я стою на своем, что бы исследователи ни откопали в архивах французского пароходства относительно наряда их судов того времени. В равной мере уверен я и в расцветке моего последнего сна на борту на подходе к Америке: разные оттенки гнетущего серого цвета в моем сновидении окрашивали обшарпанный, приземистый Нью-Йорк, совсем непохожий на обещанные родителями восхитительные небоскребы. Сойдя на пристань, мы увидели две несходные между собой Америки: во время таможенного досмотра у нас из чемодана исчезла фляжка с коньяком; с другой же стороны, когда отец (или мать? иногда они у меня в памяти сливаются) попытался расплатиться с шоффером таксомотора, доставившего нас по нужному адресу, всем содержимым своего кошелька — стодолларовой

ассигнацией в новой для нас валюте, — то этот честный человек с понимающей улыбкой тотчас же отказался от такой суммы<sup>01</sup>.

В годы, предшествовавшие нашему отъезду из Европы, я плохо понимал, чем, собственно, «занимается» мой отец. Даже самое понятие «писатель» мало что мне говорило. Только в какой-нибудь изящной истории, которую он, бывало, рассказывал мне на сон грядущий вместо сказки, я мог потом задним числом угадать контур сочинения, над которым он тогда трудился. Понятие «книги» воплощалось для меня во множестве томов в красных кожаных переплетах, которыми я любовался на верхних полках кабинетов друзей моих родителей. Они выглядели «аппетитно», как говорится. Но первым моим «чтением» было слушать, как мать читает отцовский перевод на русский «Алисы в стране чудес».

Мы поехали на солнечные пляжи Ривьеры и в конце концов отплыли в Нью-Йорк. Там, вернувшись после первого дня занятий в теперь уже не существующей школе Волта Уитмана, я объявил матери, что обучился английскому языку. В действительности я выучился английскому гораздо более постепенно, и он сделался моим преимущественным и наиболее гибким средством выражения. Но, несмотря на то, я всегда буду гордиться тем, что был единственным на всем свете ребенком, которому Владимир Набоков преподавал начатки русского языка по грамматическим пособиям.

У отца тоже был переходный период, причем в самом разгаре. Хотя он и был воспитан «совершенно нормальным трехязычным мальчиком», оказалось тем не менее, что ему в высшей степени трудно сменить свой «ничем не стесненный, богатый русский слог» на новый — не на домашний английский, на котором говорил и его англофил-отец, а на орудие столь же послушное, выразительное и поэтичное, что и родной его язык, которым он владел мастерски. Его первый роман, сочиненный по-английски, «Истинная жизнь Севастьяна Найта», дался ему ценой безконечных сомнений и страданий, потому что он отказывался от любимого своего русского языка — «податливейший из языков», как он назвал одно свое английское стихотворение, напечатанное позднее (в 1947 г.) в «Атлантическом журнале». В продолжение же этого перехода на другой язык, перед самым нашим переездом в Америку, он написал последнее свое самостоятельное русское произведение в прозе (т. е. не часть другого, незаконченного сочинения и не русский вариант написанного первоначально по-английски). То был «Волшебник», в известном смысле предваривший «Лолиту». Он думал, что уничтожил или затерял этот небольшого размера манускрипт и что созидательная основа этой вещи была исчерпана «Лолитой». Он вспоминал, как читал его несколькими друзьям как-то вечером, в Париже, за заклеенными синей бумагой окнами, ввиду угрозы нацистских бомбежек. Когда наконец в 1959 году манускрипт обнаружился, они с моей матерью внимательно его



перечитали и решили, что с художественной стороны имело бы смысл опубликовать его «по-английски в переводе Набоковых».

Это случилось только спустя десять лет по его смерти, и появление самой «Лолиты» опередило публикацию ее предшественника. Несколько американских издателей отклонило предложение напечатать «Лолиту», опасаясь неприятных для себя последствий из-за щекотливости темы. Убедив себя, что книга всегда будет жертвой непонимания, Набоков решился уничтожить черновой вариант, и только благодаря двукратному вмешательству Веры Набоковой он не подвергся кремации в нашей садовой печи за домом в Итаке.

В конце концов Набоков согласился на предложение своего агента отдать книгу «Олимпии Пресс», не будучи осведомлен о сомнительной репутации владельца издательства Жиродиа. И благодаря хвалебному отзыву Грэма Грина, «Лолита» оставила неизмеримо далеко позади себя всякую дрянь вроде тропиков Рака и Козерога<sup>02</sup>, унаследованных Жиродиа от своего отца, издателя «Обелиска», с их еще более половосерыми соседями по Олимпийской конюшне, и заняла, по мнению иных, место одной из лучших книг из числа когда-либо написанных.

Этот прототипический роман-путешествие обезмертил шоссейные дороги и мотели Америки сороковых годов, и без-численное множество имен и топонимов продолжает жить в каламбурах и анаграм

мах Набокова. В 1961 году Набоковы обосновались в отеле «Монтрё-Палас», и тамошняя горничная в один из первых же вечеров из лучших побуждений безвозвратно опорожнила дареное, украшенное бабочкой ведерко для сора, а там лежала толстая пачка дорожных карт Америки, где отец тщательно помечал дороги и веси, которые он проехал с моей матерью. Там были записаны и разные его наблюдения, и названия бабочек и мест их обитания. Какая жалость, и особенно теперь, когда всякая такая подробность изследуется учеными на нескольких континентах! И как жаль, что первое издание «Лолиты», с такой любовью мне надписанное, было выкрадено из одного нью-йоркского подвала и продано за два доллара по пути в берлогу некоего аспиранта Корнельского университета!

Тема книгосожжения преследовала нас. Когда Набокова пригласили в Гарвард читать лекции о «Дон Кихоте», он, признавая известные достоинства за Сервантесом, порицал книгу за ее «жесткость» и «жестокость». Спустя годы эту оценку представили так, будто Набоков «разнес книгу в пух и прах», затем ее еще больше исказили полуграмотные журналисты, пока наконец она не превратилась в карикатуру Набокова, который держит перед студентами охваченный пламенем том, и все это с приправой положенного в таких случаях наставительного морализаторства.

И вот наконец мы подходим к «Лауре», и тем самым снова к теме огня. В последние месяцы жизни

Набоков лихорадочно работал над этой книгой, не обращая внимания ни на ложные слухи, распространяемые людьми нечуткими, ни на назойливые разспросы людей благонамеренных, ни на разные предположения любопытствующих из внешнего мира, — ни на собственные свои страдания. Среди этих последних были непрерывные воспаления на ногах, под ногтями и вокруг. Доходило чуть ли не до того, что, казалось, лучше уж вовсе от них избавиться, чем терпеть неловкие педикюрные операции медицинского персонала, во время которых ему хотелось вмешаться в их действия и получить облегчение, причиняя пальцам боль собственными своими руками. В «Лауре» мы услышим отголоски этих мучений.

Глядя на яркий день за окном, он негромко воскликнул, что уже начался лёт одной бабочки. Но для него походы по горным лугам, с рампеткой в руке, с книгой, сочиняемой в голове, кончились. Книга-то сочинялась, но только в тесном, замкнутом мирке больничной палаты, и Набоков начал опасаться, что его вдохновение и упорство не одержат верха в состязании с усиливавшимся недомоганием. Тогда у них с женой состоялся очень серьезный разговор, и он ей твердо сказал, что если умрет прежде, чем «Лаура» будет окончена, то рукопись должна быть сожжена.

Среди полчищ сочинителей обрушившихся на меня писем нашлись люди недоходного ума, утверждающие, что если художник желает уничтожить свое произведение, которое он полагает

несовершенным или незаконченным, то по логике вещей он должен без дальних слов так и поступить, предусмотрев всё заранее. Эти умницы, однако, забывают, что Набоков вовсе не собирался сжигать «Лауру и ее оригинал» при любых обстоятельствах, но надеялся успеть написать столько карточек, сколько нужно было для того, чтобы по крайней мере закончить черновой вариант. Иные исходят в своих догадках из того, что Франц Кафка нарочно просил Макса Брода истребить перепечатанное «Превращение» и другие его опубликованные и неопубликованные шедевры, в том числе «Замок» и «Процесс», отлично зная, что Брод никогда не решится исполнить такую просьбу (для такого смелого и ясного ума, каким обладал Кафка, это была бы довольно наивная уловка), и что Набоков разсудил примерно так же, поручая уничтожение «Лауры» моей матери, которая была безупречно решительной и надежной поверенной. Она не исполнила того, что требовалось, потому что всё оттягивала исполнение, а оттягивала она его вследствие своего возраста, слабости и безмерной любви.

Когда же эта забота перешла ко мне, мне пришлось очень долго обдумывать, как поступить. Я неоднократно говорил и писал, что в некотором смысле мои родители для меня не умерли, но продолжают жить, наблюдают за мной из какого-то эфемерного своего переходного местоположения и могут подать мысль или совет и помощь, когда нужно принять важное решение, будь то ключевое,

единственно верное слово или какая-нибудь более обыденная забота. Мне не нужно было заимствовать «*ton bon*» (умышленно исковерканный) из названий книг модных межеумков — я брал его из первоисточника<sup>03</sup>. Если какому-нибудь бойкому комментатору угодно будет отнести этот случай к разряду мистических явлений, я не стану ему препятствовать. В настоящее время я решил, что Набоков, мнимым задним числом, не хотел бы, чтобы я стал его Человеком из Порлока или позволил, чтобы маленькая Жуанита Дарк — ибо так вначале звалась Лолита, предназначенная к сожжению, — сгорела как новая Жанна д'Арк<sup>04</sup>.

Приезды отца домой делались все реже и все короче, и мы старались как могли поддерживать наши беседы за столом, но потусторонний мир «Лауры» не упоминался. К тому времени и я, и, как мне кажется, моя мать во всех смыслах слова понимали, куда клонится дело.

Прошло некоторое время, покуда я мог принудить себя открыть коробку, где отец хранил свои записные карточки. Нужно было превозмочь сжимающую горло боль, прежде чем коснуться карточек, которые он любовно раскладывал и перекладывал. После нескольких попыток, пока я сам лежал в больнице, я впервые прочитал текст, который, несмотря на незавершенность, превосходил предыдущие по своей композиции и слогу и был написан на том новом «податливейшем из языков», каковым английский язык стал для Набокова. Я горячо взялся за

приведение написанного в порядок и приготовил предварительный транскрипт и продиктовал его моему верному секретарю Кристине Галликер. «Лаура» жила в полумраке, лишь иногда выходя на свет, когда мне хотелось перечитать ее и, набравшись смелости, внести некоторую правку. Мало-помалу я привык к смущающему присутствию этого призрака, который, казалось, одновременно жил в ненарушимом покое несгораемого ящика и в лабиринте моего сознания. Я уже и помыслить не мог о том, чтобы сжечь «Лауру», и мне хотелось только позволять ей время от времени выныривать из своего мрака. Отсюда мои минимальные упоминания этой вещи, которых, как я чувствовал, отец не осудил бы и которые, вместе с несколькими невнятными проговорками и предположениями других лиц, привели к тому фрагментарному представлению о «Лауре», которое теперь подхвачено прессой, как всегда падкой до лакомой сенсации. И, как я уже сказал, не думаю я, что отец или его тень были бы против того, чтобы «Лаура» была пущена на волю, раз уж она прожила под шумок времени так долго. Прожила не без моего участия, вызванного не легкомыслием или расчетом, но действием иной силы, которой я не мог противиться. Порицания ли я заслуживаю за это или благодарности?

А все-таки, г-н Набоков, почему вы *на самом деле* решили выпустить в свет «Лауру»?

Что же сказать? Я добрый малый, и потому, видя, что люди повсюду без церемоний зовут меня по

имени, сострадая «Дмитрию и его дилемме», я решил сделать доброе дело и облегчить их страдания.

За щедрую помощь и советы благодарю  
Профессора Геннадия Барабтарло  
Профессора Брайана Бойда  
Ариану Шонка Комсток  
Профессора Станислава Швабрина  
Алексея Коновалова

Благодарю и тех, кто со всех концов мира предлагал мне свои суждения, комментарии и советы всевозможных оттенков, всех, кто воображал, что их взгляды, порой искусно изложенные, могут каким-то образом изменить мои собственные.

---

<sup>01</sup> На счетчике стояла единица с двумя нулями, т. е. один доллар, которые его родители с ужасом, но покорно приняли за сто. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

<sup>02</sup> Непристойные и поэтому запрещенные до 1960-х годов в Америке романы Генри Миллера «Тропик Рака» и «Тропик Козерога», вышедшие в 1934 и 1939 году в Париже в издательстве «Обелиск».

<sup>03</sup> «Хорошие манеры» по-французски *«bon ton»*; эта намеренная перестановка слов отсылает к книжке Дугласа Гофштадтера *«Le Ton beau de Marot»* (1997), в которой автор бранит Набокова последними словами за то, что тот отрицал допустимость рифмованного перевода таких трудных и больших поэтических вещей, как «Евгений Онегин». Первые два слова названия — многослойный каламбур: *«ton beau»* значит «твой любезный» или «красивое звучание» (только нужно поменять слова местами) и произносится практически так же, как *«ton bon»* — или как *tombeau*, что значит «гробница» или

«могильный памятник».

<sup>04</sup> Кольридж, по его словам, не мог закончить поэму «Кубла-Хан», которую он уже было всю сочинил в опиумной полудреме, будучи прерван незванным пришельцем из Порлока (города на юго-западе Англии), и вспомнил и записал только 54 стиха. Жанна д'Арк говорила, что слышит нездешние голоса, повелевающие ей освободить Францию от англичан (в конце Столетней войны); она была сожжена в 1431 году как упорствующая в ереси. Об этих голосах глухо упоминает в письме к сводному брату Севастьян Найт в первом английском романе Набокова.



Лаура и ее оригинал  
*Фрагменты романа*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

[карточка № 1]  
[пометки ВН: 1]

Ее муж, отвечала она, тоже в некотором роде писатель. Говорят, толстяки колотят своих жен, и у него был очень и очень свирепый вид, когда он поймал ее на том, что она рылась в его бумагах. Он замахнулся мраморным пресс-папье, как если бы хотел размозжить эту слабенькую ручку (демонстрирует преувеличенно дрожащую руку). А она всего лишь искала одно дурацкое деловое письмо и вовсе не пыталась копаться в его загадочном [2] [2] манускрипте. Ах нет, это не роман — тят-ляп и готово, чтобы, знаете, кучу денег заработать; это показания сумасброда-невролога, что-то вроде *Вредоносного Опуса*, как в том фильме<sup>05</sup>. Это писанье отняло у него, и еще отнимет, годы трудов, но все это, само собой, держится в строжайшем секрете. Она вообще вспомнила об этом (прибавила она) потому только, что опьянела. Она желает, чтобы ее отвезли домой или, еще лучше, в какое-нибудь тихое прохладное место с чистой постелью и чтобы завтрак подавали в номер. На ней было платье без бретелек и [3] [3] черные бархатные туфли без пяток. Подъем голый ступни был той же самой белизны, что и ее молодые плечи. Казалось, вечеринка распалась на множество холодно-трезвых глаз, которые с гадким сочувствием

глядели на нее из каждого угла, с каждого пуфа и пепельницы, даже с косоголовых весенней ночи в раме открытой балконной двери. Какая жалость, еще раз сказала г-жа Карр, хозяйка, что Филипп не мог придти, вернее, что Флоре [4] [4] не удалось уговорить его придти! В следующий раз я его опую чем-нибудь и привезу, сказала Флора, шаря вокруг кресла, где сидела, в поисках слепого черного щенка — своего безформенного ридикюля. Да вот он, воскликнула безымянная девица, быстро присев на корточки.

Племянник г-жи Карр, Антоний Карр, и его жена Винни принадлежали к числу тех без меры радушных, легкого нрава супружеских пар, которые прямо жаждут предоставить свою квартиру какому угодно знакомому, если сами они и их собака в это время в ней не нуждаются. Флора [5] [5] тотчас заметила в ванной чужие лосьоны, а в набитом всякой всячиной леднике открытую жестянку с собачьими консервами рядом с необвернутым сыром. Краткий перечень инструкций (касательно швейцара и женщины, приходившей убирать в квартире) заканчивался просьбой телефонировать «моей тетке Эмили Карр», что, по-видимому, уже было исполнено и на что в раю посетовали, а в аду расхохотались. Двухспальная кровать была постлана, однако белье оказалось несвежим. Прежде чем раздеться и лечь, Флора с комической брезгливостью разстелила на ней свою шубку.

[6] [6] Куда это подевался баул, будь он неладен, ведь его как будто принесли уже? В шкапу в

прихожей. Неужели придется все из него вытряхивать, чтобы добраться до сафьяновых ночных туфель, которые, свернувшись, как в утробе, ежат в застегнутом чехле? Спрятались под сумочкой с бритвенным прибором. Все полотенца в ванной, как розовые, так и зеленые, были из толстой, сыроватого вида рыхлой материи. [7] [7 Переписать еще раз. Ни кавычек, ни запятых.] Возьмем самое маленькое. На обратном пути наружный краешек правой туфли подвернулся, и пришлось его выпростывать из-под благодарной пятки пальцем вместо рожка.

Ну скорей же, сказала она тихо.

Для первого раза она сдалась несколько неожиданно, чтобы не сказать обезкураживающе. Вымолчка — легкие ласки — скрытое смущенье — наигранно-веселое удивленье — предварительное созерцание. Она была щупла до [8] [8] невероятности. Ребра проступали. Выдававшиеся вертлюги бедренных мослов обрамляли впалый живот, до того уплощенный, что его и животом нельзя было назвать. Весь ее изящный костяк тотчас вписался в роман — даже сделался тайным костяком этого романа, да еще послужил опорой нескольким стихотворениям. Груды этой двадцатичетырехлетней нетерпеливой кра савицы, каждая размером с чайную чашку, раскосым прищуром бледных сосков и твердостью очертанья казались лет на [9] [9] двенадцать моложе ее самой. Крашенные веки были прикрыты. На верхней скуле поблескивала ничего особенного не значащая слезинка. Никто не мог бы сказать, что в этой головке

творилось. А там вздымались волны желания, недавний любовник откидывался назад, едва не лишившись чувств, возникали и изгонялись гигиенические опасения, теплым приливом объявляло свое неизменное присутствие презрение ко всем, кроме себя, вот он, вот, крикнула, как бишь ее, быстро присев. <sup>[10]</sup> <sup>[10]</sup> *Душка моя* (брови приподнялись, глаза открылись и снова закрылись, русские ей попадались нечасто, подумать об этом).

Словно накладывал на лицо маску, словно слою краски покрывал бока, словно передником облегал ее живот поцелуями — все это вполне приемлемо, покуда они не мокрые.

Ее худенькое, послушное тело, ежели его перевернуть рукой, обнаруживало новые диковины — подвижные лопатки купаемого в ванне ребенка, балериний изгиб спины, узкие ягодички <sup>[11]</sup> <sup>[11]</sup> двусмысленной неотразимой прелести (прековарнейшее одурачиванье со стороны природы, сказал Поль де Г., старый, угрюмого вида профессор, глядя на купающихся мальчиков)<sup>06</sup>.

Только отождествив ее с ненаписанной, наполовину написанной, переписанной трудной книгой, можно <sup>[12]</sup> <sup>[12]</sup> было надеяться найти наконец выражение тому, что так редко удается передать современным описаниям соития, потому что они новорождены и оттого обобщены, являясь как бы первичными организмами искусства, в отличие от индивидуальных достижений великих английских поэтов, у которых в предмете вечер в деревне, клочок

неба в реке, тоска по родным далеким звукам — все, что Гомеру или Горацию было совершенно недоступно. Читателей отсылают к этой книге — на самой высокой полке, при самом скверном освещении — но она уже существует, как <sup>[13]</sup><sub>[13]</sub> существует чудотворство и смерть и как отныне будет существовать вот эта гримаска, которую она произвольно скорчила, отирая полотенцем промежность после предуговоренного извлечения.

На стене красовалась репродукция гнусного Глистова «Гландшафта» (отступающие вдаль овалы), вещь воодушевляющая и умиротворяющая, по мнению пошленькой Флоры. Холодный, туманный город начали сотрясать предразсветные гулы и громыханья.

Она сверилась с ониксовым оком на запястье. Оно было слишком маленькое и для своего размера не довольно <sup>[14]</sup><sub>[14]</sub> дорогое, чтобы *идти верно*, сказала она (перевод с русского), и в ее бурной жизни это был первый случай, чтобы мужчина снимал часы, перед тем как *faire l'amour*. «Во всяком случае теперь уж поздно звонить другому» (протягивает свою быструю безжалостную руку к телефону на ночном столике).

Ничего никогда не могла найти, а вот ведь без запинки набрала длинный номер.

«Ты спал? Перебила тебе сон? Так тебе и надо. Ну слушай внимательно». <sup>[15]</sup><sub>[15]</sub> И с тигриным пылом, чудовищно раздувая ничтожную размовку, причем его пижама (глупейший повод, приведший к ссоре) в спектре его удивления и огорчения меняла цвет с

гелиотропного на уныло-серый, она разделалась с бедолагой навсегда.

«С этим покончено», — сказала она, решительно положив трубку. Готов ли я ко второму заезду, желала бы она знать. <sup>[16]</sup> <sup>[16]</sup> Нет? Ни даже на скорую руку? Ну что ж, *tant pis*<sup>07</sup>. Посмотрите-ка, нет ли у них в кухне чего-нибудь выпить, и отвезите меня домой.

Положенье ее головы, доверчивая близость этой головы, ее благодарно сложенная ему на плечо тяжесть, щекотанье ее волос оставались неизменны всю дорогу; и однако, она не спала и с превеликой точностью остановила таксомотор и вышла на углу улицы Гейне<sup>08</sup>, не слишком далеко, но и не слишком <sup>[17]</sup> <sup>[17]</sup> близко от ее дома. Это была старая вилла с высокими деревьями позади. В тени в узком проулке ломал руки молодой человек в макинтоше, накинутом поверх белой пижамы. Уличные фонари гасли через один, сначала нечетные. Ее очень толстый муж в измятом черном костюме и в войлочных ботиках с пряжками прогуливал вдоль панели перед виллой полосатого кота на длинном-предлинном поводке. Она направилась к <sup>[18]</sup> <sup>[18]</sup> парадной двери. Муж, подхватив кота на руки, последовал за нею. Было в этой сцене как будто что-то несуразное. Кот с неотрывным вниманием словно бы следил за змеей, которая ползла за ними по земле.

Не желая припрягать себя к будущности, она отказалась договариваться о следующем свидании. Чтобы слегка ее подстегнуть, три дня спустя к ней на дом явился разсылный. Он принес из облюбванной

светскими дамами цветочной лавки банальный букет стрелиций. [19] [19] Кора, мулатка-горничная, впустившая его, смерила взглядом неказистого курьера, его фарсовую фуражку, понурое лицо с русой бородкой, три дня как отпущенной, и только было приподняла подбородок, чтобы принять в объятия его шуршащую охапку, как он сказал: «Нет, мне велено передать самой Madame в руки». «Ты француз?» — презрительно спросила Кора (вся эта сцена была разыграна довольно натужно, в липовом театральном духе). [20] [20] Он покачал головой — и тут из комнаты, где по утрам пили чай, вышла сама Madame. Первым делом она велела Коре унести стрелиции (отвратительные цветы, облагороженные бананы, в сущности).

«Ну вот что, — сказала она глупо улыбающемуся проходимцу, — если вы еще раз позволите себе этот дурацкий маскарад, вы меня больше никогда не увидите, клянусь, никогда! Больше того, меня подмывает...» Он прижал ее к стене между своими разведенными руками; Флора, поднырнув, высвободилась и указала ему на дверь; но, когда он вернулся к себе на квартиру, телефон уже трезвонил как сумасшедший.

---

<sup>05</sup> Может быть, «Франкенштейн-младший», грубый фарс Мела Брукса (1974) (см. *Послесловие переводчика*). Не зная наверняка, нельзя сказать, в буквальном или фигуральном смысле здесь это *poisonous* (ядовитый, отравленный).



<sup>06</sup> В английском тексте Набокова слово «глядя» написано дважды, перед «старым профессором» и после, как будто Поль де Г. наблюдал за профессором, который в свою очередь смотрел на мальчиков. Скорее всего, Набоков забыл зачеркнуть первое деепричастие. — *Прим. ред.*

<sup>07</sup> Ничего не поделаешь

<sup>08</sup> Проф. Станислав Швабрин указал на неоспоримую зависимость этого места от стихотворения Гейне «Двойник» («Ночь тиха, и улицы пустынно...»), которое Набоков в молодости перевел на русский язык.